

## ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЛОКЕ

Вступительная статья Е. И. Поляковой

Любовь Яковлевна Гуревич (1866—1940) — писательница, литературный и театральный критик, историк театра. Имя ее прежде всего связано с историей Художественного театра, с деятельностью Станиславского. Первая театрально-критическая статья Л. Я. Гуревич «Освобождение театра» (1904) посвящена петербургским гастролям Художественного театра, деятельности Станиславского — актера и режиссера. С тех пор в петербургской прессе постоянны статьи Гуревич о премьерях обеих столиц, о гастролях Дузе, о процессах, характерных для бурной театральной жизни 900—10-х годов. Станиславскому посвящена небольшая монография Гуревич 1929 г., блестящая статья о его актерском искусстве в сборнике «Мастера МХАТ» (1939). В последние годы жизни Любовь Яковлевна подготовила в высшей степени интересный по материалам сборник «О Станиславском» (издан в 1948 г.). В этот сборник вошли и ее собственные воспоминания, столь существенные для биографии великого реформатора театра.

Любовь Яковлевна — долговременный свидетель поисков Станиславского, создания его «системы», воплощающей органические законы актерского творчества. Она совместила в своем лице доброжелательного и строгого критика Художественного театра, друга Станиславского и замечательного редактора его произведений. В 1939 г. она подготовила к печати, прокомментировала «Художественные записки» — дневники-размышления молодого Станиславского. В процессе работы Станиславского над «Моей жизнью в искусстве» она стала таким редактором-помощником, без которого, возможно, великая книга не была бы книгой такой классической завершенности, такой точной соразмерности глав и частей.

Много лет Л. Я. Гуревич работала над капитальной «Историей русского театрального быта», — к сожалению, в 1939 г. издан лишь первый том этого труда.

В то же время имя Любоми Яковлевны Гуревич значительно в истории русской литературы и журналистики. Примечательна, можно сказать, типична сама биография Любоми Яковлевны, ее принадлежность к замечательной семье русских интеллигентов, с ее демократичностью, огромной образованностью, сочетающейся с таким же огромным трудолюбием. Мать — из старинного дворянского рода Ильиных (ее отец был сослуживцем Льва Толстого по Кавказу, затем — смотрителем кремлевского дворца в Москве). Отца, Якова Григорьевича Гуревича, до конца жизни называли «идеалистом-шестидесятником». Воспитанник Петербургского университета, директор «Гимназии и реального училища Гуревича», редактор и издатель журнала «Русская школа», замечательный преподаватель древней и новейшей истории, автор учебников и составитель исторических хрестоматий, неутомимый деятель Литфонда и других учреждений — он и умер-то по дороге в свою гимназию на педагогический совет (1906 г.). Эту широту познаний, эту работоспособность унаследовал его сын Яков Яковлевич, дочери — Любовь, Анна, Екатерина, сын Екатерины Яковлевны — Ираклий Андроников. Анна Яковлевна Гуревич — старейший член партии большевиков, работала со Стасовой, с Крупской. Любовь Яковлевна по окончании гимназии, училась на Высших женских курсах. Первый ее очерк («биографико-психологический этюд»), посвященный художнице Марии Башкирцевой, публикуется в 1886 г. в журнале «Русское богатство». В начале 90-х годов она становится сначала пайщицей журнала «Северный вестник», а затем его издательницей и владелицей. В журнале публикуются произведения «новых поэтов и беллетристов», как называет их издательница: стихи Зинаиды Гиппиус, повести Соллогуба, статьи Мережковского и Акима Волынского, во многом определяющего то, что называется «лицом журнала». Рядом — произведения Чехова, «Мальва» и «Варенька Олесова» молодого Горького, «Хозяин и работник» Льва Толстого.

В 1892 г. Н. С. Лесков познакомил Л. Я. Гуревич с Л. Толстым. В течение нескольких лет Любовь Яковлевна — привычный гость Ясной Поляны. Толстой дает для «Северного вестника» и притчу «Суратская кофейная», и статью «Неделание», внимательно редактирует «Дневник» швейцарского писателя Амведа, который переводит Мария Львовна Толстая.

В воспоминаниях в работе «Художественные заветы Толстого» Л. Я. Гуревич отдает должное гению Толстого и с живыми подробностями рассказывает о его яснополянской жизни. Однако она всё же является восторженно-безмолвной почитательницей и последовательницей учения Толстого. У нее свой взгляд на искусство и литературу, свое отношение к коллизиям семейной жизни Толстого. Она — зоркий, спокойный, вдумчивый свидетель, в то же время не допускающий ни малейшей фамильярности в рассказе о Толстом или Лескове, Станиславском или Блоке.

В «Северном вестнике» публикуются рассказы Л. Я. Гуревич, ее роман «Плоскогорье» (впоследствии изданы отдельными книгами). Правдивы — вот самое подходящее определение этих литературных опытов. Правдивы, принадлежат реально-бытовой традиции русской литературы. Но неярки, не отмечены той самостоятельностью образной системы, точностью выражения мысли, которая свойственна статьям и воспоминаниям Л. Я. Гуревич. Она по призванию — критик, идеальный редактор. Но никак не редактор-издатель журнала. Для этой деятельности нужны такие административно-дипломатические способности, такие свойства характера, какими Любовь Яковлевна не обладает. В 1898—1899 гг. «Северный вестник» прекращает свое существование, а на плечи владелицы журнала ложится громадный долг, который приходится выплачивать долгие годы.

В 900—910-х годах статьи Гуревич о русской литературе, обширные обзоры современной западноевропейской литературы публикуются в журналах «Русская мысль», «Жизнь», в газетах «Русское слово», «Речь» и других. В 1912 г. избранные статьи объединены в сборник «Литература и эстетика». Гуревич внимательна к творчеству Бунина и Леонида Андреева, напуганная добрым словом молодых — Сергеева-Ценского, Корнея Чуковского. В 1900 г. она прозорливо вменяется в творчество Анатоля Франса или Метерлинка, для которого, по ее мнению, самым важным становится «стремление к изучению народного творчества и народной жизни». В обзоре «Новые движения во французской литературе», написанном на рубеже веков (журнал «Жизнь»), она так характеризует европейский символизм: «Очень многие до сих пор, смешивая символистов с декадентами, считают новейшую символическую поэзию искусственной, аллегорической и по настроению своим «оторванной от жизни». Ничего не может быть ошибочнее! Поэтические силы новейшего поколения выступили с ясным сознанием того, что мир исключительного личного существования, со всем разнообразием доступных человеку ощущений и страстей, слишком тесен для человеческой души. Они широко открыли глаза на жизнь и дали ход высшим запросам разума, сумев при этом подойти к самым надежным и свежим источникам человеческого обновления. Молодая символическая поэзия питается теперь одновременно из таких, по-видимому, далеких друг от друга источников, как идеалистическая философия Германии и французский фольклор — народные песни, сказания и предания. Душа вырвалась на простор, захотела осмыслить сознательной умственной работой свои мистические стремления и слиться со всеми живущими и страдающими. Никогда еще поэты-идеалисты не стояли так близко к жизни народных масс, не проникались так их интересами и нуждами».

Естественно, что подобные воззрения на «символическую поэзию» сближают Гуревич с поисками Блока, с его обостренным ощущением разрыва символизма и реальности. Для Л. Я. Гуревич символизм не инородное явление русской литературы, но закономерность ее развития. Эта широта восприятия современной культуры также близка Блоку. И естественно, что знакомство Блока и Гуревич, начавшееся в 1907 г., перерастает рамки простого знакомства, становится некоей общностью, нужной им обоим, — общностью отношения к историческим катаклизмам XX в., общностью ответственности перед народом, впоследствии — общностью принятия революции и работы на нее.

Воспоминания Любови Яковлевны о Блоке столь же содержательны, сколь и скромны по отношению к себе самой. Любовь Яковлевна говорит: «Я вовсе не хочу преувеличивать близости наших отношений», предупреждает — «домашнего» знакомства с Блоком не было, категорически отказывается от столь соблазнительной для мемуариста попытки «вос-

становить содержание наших бесед с ним на значительные общие темы». В то же время симптоматичен разговор при знакомстве в 1907 г. Любовь Яковлевна заходит к Блоку взять его перевод средневекового миракля «Действо о Теофиле», а разговор заходит «почему-то о революционном движении 1905 года... И я впервые почувствовала, что автор «Незнакомки» и «Балаганчика» гораздо ближе к жизни, с ее огромными нравственными и общественными вопросами, чем о нем было принято думать».

Сразу же после знакомства Любовь Яковлевна посылает Блоку свою книгу «9-е января», только что изданную. «Дня через два» получает ответ Блока. В воспоминаниях она пишет, что, к сожалению, не может процитировать это письмо. Дело в том, что, работая над этими воспоминаниями после смерти Блока, Любовь Яковлевна не могла пользоваться своим архивом. При переезде из Петрограда в Москву, в 1920 году, она сдала весь этот богатейший архив на хранение в Пушкинский Дом.

Там и хранится первое письмо Блока, в котором он ошибочно называет имя новой знакомой, обращается к ней, как к человеку, «настроенному на ту же волну»:

«Многоуважаемая Лидия Яковлевна.

Спасибо Вам за Вашу книгу от всей души. Сейчас, ночью, я прочел ее, не отрываясь, с большим напряжением. Хочу сказать Вам, что услышал голос волн большого моря; все чаще вслушиваюсь в этот голос, от которого все мы, интеллигенты, в большей или меньшей степени отделены голосами собственных душ. Сейчас моя личная жизнь напряжена до крайности, заставляет меня быть рассеянным и невнимательным к морю. Но, верно, там только — все пути. Может быть, те строгие волны разобьют в щепы все то тревожное, мучительное и прекрасное, чем заняты наши души.

Искренне преданный Александр Б л о к.

P. S. «Действо» получил. Спасибо» (8, 221—222).

Кроме этого письма от 21 декабря 1907 г., в последнем Собрании сочинений Блока опубликованы еще шесть его писем к Л. Я. Гуревич (и одно письмо к А. Я. Гуревич), Зимой 1909 г. Блок посылает ей свою драму «Песня судьбы» с просьбой: «Если напишете несколько слов о ней, — спасибо, но я знаю, как это трудно и досадно иногда; если не захочется, не пишите» (8, 275).

Гуревич для Блока — выскательный и чуткий критик, близкий по своим представлениям об искусстве, по ощущению его задач в современности. Получив статью Л. Я. Гуревич «От „быта“ к „стилю“» («Русская мысль», 1911, № 11), Блок пишет ей в ноябре 1911 г.: «Спасибо за письмо, за ласковые отношения Ваше ко мне и за статью, в которой мне многое близко (пока особенно о «наивности художественных вкусов» — в начале), хотя я не со всем согласен... Любовь Дмитриевна кланяется Вам сердечно. Спасибо еще раз. Если увидите скоро со Станиславским, передайте ему, прошу Вас, что всегда думаю о нем с нежностью и благодарностью» (8, 377—378).

Станиславский — еще одно связующее звено в отношениях Блока и Гуревич. Отношения двух великанов русской культуры достаточно сложны. Блок мечтает о постановке своих пьес в Художественном театре, но они никогда там не идут. «„Песню судьбы“ в 1908 году Станиславский страшно хвалил» (7, 187), — записывает автор пьесы в дневнике. Вскоре Блок получает письмо Станиславского, одновременно продолжающего «страшные похвалы» и находящий в ней «ошибки, противоречия природе человека» (К. С. Станиславский. Собр. соч. в 9 томах, т. 7, с. 416). «Я поверил этому», — просто отмечает Блок (7, 188). С 1913 г. возникает в планах репертуара Художественного театра «Роза и крест». В 1916 г. автор получает из театра телеграмму о принятии пьесы к постановке. И пишет благодарственное письмо... Любви Яковлевне Гуревич: «Чувствую, что дело это не обошлось без Вашего мягкого и упорного влияния; поэтому позвольте мне Вас поблагодарить: слова тут найти, конечно, невозможно, пожалуй, и не нужно; а только я чувствую, что Вы очень связаны с тем театром, который сыграл для меня большую роль когда-то, в лучшую пору жизни, сыграл и теперь, в пору не очень хорошую, роль еще большую, как бы ни повернулось дело» (8, 458). Репетиции идут в шестнадцатом и семнадцатом, в восемнадцатом и девятнадцатом годах. Блок приезжает в театр, увлеченно и много трудится над комментариями к драме. Она выдерживает много репетиций, она становится материалом для великолепного живописного решения М. В. Добужинского, для поисков Станиславского в области живописно-пластического образа спектакля. И все же работа не до-

водится до результата — спектакля. А Станиславский остается для Блока и «актером, и человеком, чудесным соединением жизни и искусства» (7, 138).

Станиславский и Блок — тема огромная, сложнейшая, почти не разработанная ни в литературоведении, ни в истории театра. Спектакли не состоялись, но встречи, переписка, взаимность тяготения — одинаково важны для обоих. Блок для Станиславского — гениален, а это определение он почти не употреблял, особенно по отношению к современникам. После смерти сына мать Блока пишет Станиславскому: «Раз он мне сказал: „Я думаю, Станиславский — самый талантливый человек в России“» (Архив Станиславского; приведено в «Летописи жизни и творчества К. С. Станиславского», т. 4, с. 252).

В возникновении этой истинной близости великих художников значительна роль Любови Яковлевны, которая, конечно, не говорит об этом в своих воспоминаниях. Упоминания Блока о Любови Яковлевне в дневниках, письмах, записных книжках просты и теплы. 29 декабря 1912 г. Блок пишет в дневнике о вечере у Ремизовых накануне: «Устал я под конец страшно, ушел, попал в трамвай, встретившись в нем с Л. Я. Гуревич. Едет с дочкой, совсем больная» (7, 198). 24 июня — «Длинный разговор по телефону с Л. Я. Гуревич, в котором я нашел полное сочувствие себе... Стало полегче благодаря ее чуткости» (7, 269).

Последняя запись относится к совместной работе Блока и Гуревич как редакторов стенографического отчета «Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию деятельности бывших царских министров и сановников». Редакторы присутствуют при допросах столбов свергнутой монархии, затем правят стенограммы. В этой работе, идущей с мая по октябрь 1917 г., едины позиции Блока и Гуревич, как едино сочетание интереса и брезгливости в их отношениях к «бывшим министрам».

С 1920 г. Любовь Яковлевна живет в Москве. В конце своих воспоминаний она приводит отрывки (с отдельными неточностями) из письма Валерии Андреевны Фейдер (см. с. 849), описывающей похороны Блока. Письмо это хранилось в архиве дочери Л. Я. Гуревич Елены Николаевны.

## ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЛОКЕ

Мы были знакомы с 1907 г., но не бывали друг у друга. При первой же встрече с ним, из первого впечатления от его изящного, тонкого и нежного существа, возникло во мне, вместе с живой человеческой любовью, какое-то особенно бережное чувство к нему, которого вообще нехватает в нас по отношению к людям. Он жил очень далеко от меня, и у меня никогда не повернулся язык позвать его к себе. Думалось: если он придет невзначай, — то может не застать, прийти напрасно, или же встретить у меня кого-нибудь лишнего, утомительного для себя, а если условиться заранее на определенный день и час, у него может не оказаться подходящего настроения, и он из деликатности сделает насилие над собой. Наши многочисленные встречи с внешней стороны были случайны, но содержание наших бесед было совсем неслучайно и в исключительной степени свободно от тех эмпирических материалов, которыми обычно бывают загромождены человеческие отношения. Виделись ли мы в фойе театра, на литературном вечере, на похоронах, в книгоиздательстве «Всемирная литература», — разговор — краткий или долгий — всегда касался каждого и оставлял в душе чувство той глубокой тихой радости, которая бывает связана с настоящим духовным общением, с выходом из давящего круга нашего ограниченного «я». Бывало иногда, в тихие поздние вечера, что, заговорив по какому-нибудь внешнему поводу по телефону, мы сейчас же переходили на серьезные близкие темы и так говорили час и два, не спеша, не напрягая голоса, — о литературе, об искусстве, о жизни, смерти и бессмертии. Его неторопливый грудной голос с дрожащей ноткой в глубине сохранял, при разговоре по телефону, свой обычный тембр и давал иллюзию общения лицом к лицу. Это были те редкие в жизни

чудесные беседы, в которые выливается, иногда прямо из глубин подсознательного, многое, недооформленное умом. Слушаешь и мгновениями сознаешь это и даже боишься не понять, но в то же время улавливаешь в себе внутренний отклик на сказанное и говоришь, иногда почти неожиданно для себя, отчего вдруг светлеет в сознании. И собеседник знает, что ты понял его, что какая-то общая правда живет в нас и доходит в этой беседе до своего оформления, шевеля вместе с тем где-то внутри все новые и новые, почти еще не тронутые разумом правды.

Как передать содержание таких разговоров, в которых трепетные, нащупывающие правду полуслова обеих сторон сплетаются в единую ткань, во время которых стирается грань между двумя различными человеческими индивидуальностями и величинами. Такие разговоры вспоминаются, как музыка, и, вспоминая их, не можешь отдать себе отчета, что именно сказал он и что договорила за него твоя душа. Бывает, что люди в силу своего неумолимого психического соотношения поворачиваются друг к другу своими разномыслящими и разночувствующими сторонами, хотя надо всем этим в них нашлось бы много созвучного. Другие, наоборот, притягиваются друг к другу теми сторонами своего существа, которые обуславливают их полное взаимопонимание, и тогда, даже за видимыми, заранее известными разногласиями, сейчас же нащупывается какая-то общая правда, по-иному освещающая и самые эти разногласия.

Таковы были мои отношения с ним, и потому мне трудно говорить о нем со стороны, в качестве объективно наблюдающего, воспринимающего и запоминающего его слова. Я вовсе не хочу преувеличивать близости наших отношений. Но разве не характерна для человека и для поэта способность к такого рода общению с другим, лично и эмпирически совсем с ним не связанного? Его сложная, переутонченная душа, психологически зыбкая и вместе с тем возвышенно-верная и памятливая, повитая туманами тяжелых настроений, опаляемая жаркими страстями и одновременно — чистая и строгая в своем искании истины и внутренней красоты, сжималась от всякого банального слова, пугалась всякой суеты и тщеты земной и потому в общем скорее боялась людей. Он вовсе не был экспансивен, наоборот — сдержан и скорее даже замкнут. Но там, где он встречал живое понимание и нащупывал известную духовную родственность, — он сразу, с первой встречи становился изумительно непосредствен и доверчив. Тонким вниманием, нежной заботливостью дышало в таких случаях все его обхождение, и прекрасные бледно-голубые глаза его светились тоскою.

Я только что сказала, что не могу восстановить здесь содержание наших бесед с ним на значительные общие темы. Отчетливо вспоминаются отдельные разговоры, бесспорно интересные для его будущего биографа, но о них еще не время говорить во всеуслышание. Но есть некоторые конкретные эпизоды, характерные для него, которые я могу здесь объективно и почти полностью передать.

Прежде всего — это беглое воспоминание о нашей первой встрече в 1907 г. Я зашла к нему, чтобы попросить у него для прочтения его перевод средневекового «Действа о Теофиле», которое ставилось тогда в Петербурге в «Старинном театре». Не буду останавливаться на описании его более, чем скромной тогдашней квартирке по черной лестнице, ни на своих впечатлениях от его сдержанных, почти робких по форме, но поразивших меня своей сердечностью расспросов о моей личной судьбе после крушения «Северного Вестника». Мы заговорили почему-то о революционном движении 1905 г. Он рассказал мне о своей переписке с несколькими рабочими в этот период, и я впервые почувствовала, что автор «Незнакомки» и «Балаганчика» гораздо ближе к жизни, с ее огромными нравственными и общественными вопросами, чем о нем принято было думать, что он просто живой, непосредственный человек, принимающий к сердцу все человеческое и страдающий за тех, кому наша усложненная культура отказала в своих дарах и благах. Незадолго

перед тем вышла моя книжка о движении 9-го января 1905 г. по данным известной в то время общественной анкеты и по опросам ближайших участников этого движения. Он расспрашивал меня о нем и просил прислать ему мою книгу. Дня через два я получила от него по этому поводу письмо, полное глубокого поэтического настроения, к сожалению, не могу процитировать его здесь (его письма ко мне находятся в Пушкинском Доме при Академии наук в Петрограде), но внутренний напев этого письма, взволнованный, мечтательный и грустный, и теперь еще звучит в моей душе. Он говорил о пробуждающейся русской народной стихии, о поднимающейся откуда-то из глубин жизни революционной волне, и я помню такую приблизительно фразу его, оказавшуюся пророческой теперь, когда он ушел от нас, слишком мучительно пережив все большие вопросы нашей революционной современности: «И кто знает, — писал он, — может быть эта волна унесет, захлестнет нас, пришедших к этим вопросам совсем из других сфер...»

Потом вспоминается мне эпизод совсем другого характера, относящийся к гораздо более позднему времени — приблизительно к 1915 г. Слушательницы Петроградских Высших Женских Курсов попросили меня оказать им содействие в приглашении Блока на устраиваемый ими большой закрытый литературный вечер в помещении курсов. Я обещала им это после некоторого колебания, п. ч. чувствовала, что — в противоположность многим другим — ему трудно даются публичные выступления. И в самом деле он не скрыл, что ему это трудно, что ему тяжела шумиха таких вечеров и разные возможные при них случайные нескладности, однако он согласился и приехал к самому началу. Вскоре в артистическую ввалилась группа, незадолго до того возникших футуристов, возглавляемых Игорем Северянином. Не то их кто-то частным образом, не спешись с организаторами вечера, пригласил, не то, как заявил один из них, они приехали сами из желания выступить перед молодежью. Все поведение их было очень вызывающее; часть курсисток требовала их немедленного появления на эстраде, и с трудом лишь удалось предотвратить скандал, договориться до того, что из всех футуристов выступит на этот раз только Игорь Северянин, во второй половине вечера, а первая часть вечера будет беспрепятственно исполнена лицами, которых пригласили организаторы. Впечатления от всех этих переговоров были очень неприятные. Блок был смущен и, несомненно, ему хотелось отказать от выступления. Но по своей деликатности он пересилил себя и в указанное ему время вошел на эстраду. Мы все помним, как он читал, передавая музыку своего стиха, напев его, но вместе с тем без тени нарочитого пафоса, просто и благородно. Огромный, битком набитый, нервно шумящий после происшедшего инцидента зал стих. Люди стали успокаиваться и светлеть. Тихая глубокая поэзия Блока захватила сердца, и когда он кончил, не разразился даже обычный треск аплодисментов: все глаза продолжали сосредоточенно и взволнованно смотреть на него, а в первых рядах так настойчиво, так убедительно твердили: «еще! еще!», что он после некоторого колебания прочел еще несколько вещей. Я смотрела на слушающих из-за эстрады, и меня поразила необычайная одухотворенность, какая-то светящаяся красота в выражении всех этих юных девических лиц. Блока не отпускали. Он застенчиво советовался о том, как ему поступить, и вновь начал читать, приподнятый общим настроением. Чуть ли не все свои лучшие небольшие вещи прочел он в этот раз и, кроме того, — чудесные отрывки из поэмы «Роза и Крест».

Когда, наконец, был объявлен перерыв, я думала, что он уедет. Но он остался: его интересовал Игорь Северянин, которого он еще не слышал как чтеца. И вот Северянин выступил и запел об ананасах в шампанском и мороженом из сирени. Кое-кто нервически захохотал в зале, другие гневно зашикали, все как-то сдвинулись с мест, загромыхали по полу рядами связанных стульев, курсистки стали налегать друг на друга, а после первых двух-трех стихотворений в зале поднялся восторженно-истерический рев и



Любовь Гуревичъ.

*Дорогому Александру Александровичу  
Блоку  
с нежной любовью и с уважением*

ЛИТЕРАТУРА  
и ЭСТЕТИКА.

*автору  
12 декабря 1912.*

КРИТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ и ЭТЮДЫ.



Книгоиздательство „РУССКАЯ МЫСЛЬ“.  
МОСКВА—1912.

ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ. ЛИТЕРАТУРА И ЭСТЕТИКА

Критические опыты и этюды. М., «Русская мысль», 1912.

Титульный лист с дарственной надписью Л. Я. Гуревич Блоку:

«Дорогому Александру Александровичу Блоку с нежной любовью к его поэзии от автора.  
12 декабря 1912 г.»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

визг. Игорь Северянин продолжал петь, и в его почти одинаковом для всех стихотворений пении звучала и монотонность усталой уличной шарманки и форсовство цыганских запевал и что-то от пряных иностранных шансонеток, напеваемых в белую ночь в петроградском увеселительном саду. Я продолжала смотреть на публику из-за эстрады: лица раскраснелись, глаза горели и — что меня особенно поразило — у всех почти как-то по-животному были открыты рты.

Блок сидел во втором ряду и серьезно смотрел в лицо исполнителю. Я не могла угадать его мыслей. Во время маленького перерыва, когда в зале опять поднялась оргия крикливых восторгов: «Сядьте на пустой стул в первом ряду, нужно видеть его лицо», — сказал он. И в самом деле, — стоило посмотреть в лицо Игорю Северянину в то время, когда он вновь запел, почти пьяный от своего успеха. «Вы узнаете его? Ведь это капитан Лебядкин? — шепнул мне Блок. — Новый талантливый капитан Лебядкин». Игорь Северянин оказался победителем в этот вечер. Но Блок не был ни самолюбиво расстроен, ни смущен, он был задумчив.

Вскоре наступил период, когда мы не видались: он должен был уехать на фронт. За это время я несколько раз виделась с его матерью А. А. Кублиц-

кой-Пиоттух, тонкой, чрезвычайно интеллигентной женщиной, которая была настоящим другом своего единственного сына. Она прочла мне его незаконченную поэму «Возмездие», которая была напечатана затем в «Русской мысли», — и из самой этой поэмы, как и из разговоров с нею мне стало ясно, что дух его продолжает крепнуть и светлеть, что он страстно добивается в себе пушкинской ясности и простоты, что та опасная темная точка, которая была в его душе и из которой ползли психологические тупики, — все то, с чем он боролся в себе как с «декадентством» начинает как будто исчезать. Вместе с задатками нервной болезненности, если не болезни, в нем были и задатки физической — сильной, здоровой организации. Живя летом в деревне, в своем маленьком имении под Москвой, он любил исполнять физические работы и на покос ходил первым в ряду косцов.

В мае 1917 г. мы вновь встретились с ним при совершенно новых условиях жизни. Мне предложили войти в маленькую группу литераторов при «Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений министров и других деятелей царского режима» для редактирования стенографических протоколов, составлявшихся на их допросе. Блок уже работал над протоколами в этой Комиссии, занимавшей несколько больших светлых комнат Зимнего Дворца с чудесным видом на Неву.

Работа наша, состоявшая в том, чтобы проверить всеми возможными способами встречающиеся в протоколах неясности, выбрасывать лишние слова, осторожно выправлять стиль, происходила, собственно, на дому. Но в противоположность некоторым другим, Блок постоянно появлялся в помещении Комиссии и принимал в ее делах самое активное участие. Раскрывавшаяся перед ним картина придворной и высшей административной жизни царской России не во всем совпадала со сложившимися представлениями даже хорошо осведомленной интеллигенции. Наряду с ужасающими, кошмарными признаниями допрашиваемых, протоколы и самые допросы, на которых имели право присутствовать редактора, представляли материал исключительной художественной значительности. <...> Блок горел интересом к расследованию, и, хотя ему было нравственно тяжело присутствовать на допросах в Петропавловской крепости, не упускал случая бывать на них. С необычайным воодушевлением, сильными красочными словами, достойными истинного художника, передавал он мне те свои впечатления, которые не достигали лично до меня, и при этом суждения его о людях и делах тяжкого минувшего были проникнуты такою вдуманностью и гуманностью и одновременно такою потребностью увидеть настоящую, ничем не затухавшую и ничем не подкрашенную правду. Политическая тенденциозность была противна ему. Он протестовал против малейшего проявления ее. И вместе с тем он негодовал на окружающую нас в Комиссии, как и в любом учреждении, халатность, неряшливость и бестолочь. Он был добросовестен и аккуратен в своей работе, как никто, и исправленные им протоколы представляли собою образец точной, чрезвычайно осторожной в историческом и юридическом отношении работы, свободной от всяких случайных элементов, ясной и художественно выуклой.

Наконец наступил момент, когда Комиссия должна была озаботиться подведением итогов своей работы для ожидаемого Учредительного собрания. Организована была небольшая подкомиссия по разработке основных принципов готовящегося доклада. Потом состоялись несколько заседаний многочисленного Пленума Комиссии. Мы знали характер такого рода наших заседаний, где бойкие, шустрые, одержимые мелким самолюбием люди самоуверенно излагают свои мысли и проекты, не свободные иногда от каких-либо затаенных личных расчетов, а другие, заторопленные, перегруженные разнородной работой, не успевающие заранее ничего обдумать, говорят длинные смутные речи, чтобы в конце концов поддержать мнение шустрых и напористых. Блок страдал при виде всего этого. Непривыкший к сумятице общественных дел, он непрестанно волновался, советовался, как поступить,



как бороться с несерьезностью одних и подозрительной самоуверенной напористостью других. Он был весь слух и внимание во время общих заседаний, и он думал, днями и ночами думал о предстоящем Комиссии докладе, который уже заранее приобретал несколько тенденциозную окраску и должен был явным образом ступшевать многие черты действительности, [человечно смиряющие тяжкие, страшные грехи преступников старого режима].

Со всей своей несклонностью к публичным выступлениям и деловым речам, Блок не раз брал слово на этих заседаниях, высказывался с полной искренностью и поражал меня при этом ясностью своих человеческих и юридических суждений. Он был прекрасен в этих своих речах. Иногда, во время заседаний, мне хотелось шепнуть ему что-нибудь, обратить его внимание на то или другое, но я воздерживалась из уважения к его глубокой сосредоточенности. Но один раз, помню, стоял необычайно прекрасный летний вечер. Через открытые окна большого белого зала, где шло заседание, было видно пылающее малиновым пожаром заката небо и отражающая его малиновая ширь Невы. Я не могла не повернуться несколько раз в сторону окон и нарочно не глядела на Блока, когда во время какой-то речи, к которой он старался прислушаться, он вдруг шепнул мне: «Поглядите, какая красота... Поглядите!..» Так он и встает сейчас в моем воспоминании с отблеском вечерней зари на бледном тонком лице и на вьющихся светлых волосах.

Прошло два года слишком, прежде, чем мы встретились вновь. Условия жизни не давали возможности решительно никуда выходить, кроме повседневной работы. Я знала, что за это время Блок потерял то маленькое имение, где он проводил свои юные годы и где он находил летом отдых: его домик сожгли вместе со всеми его рукописями. Он должен был пережить это со всей силой своих человеческих чувств, но результатом этих переживаний была его статья, напечатанная в одном из альманахов — его восторженный привет новому строю жизни, который нес с собою, как он тогда верил, восстановление нарушенной справедливости. Но уже его поэма «Двенадцать», появившаяся почти одновременно с этой статьей, показывает, что он не закрывал глаза на те явления жизни, в которых развевывалась у нас идея социального равенства. Над этой поэмой носится томительная грусть петербургских ночей, в ней раздаются вопли несчастных, темных, пьяных людей и слышатся призывы на помощь. Когда я встретила Блока в конце 1919 года он был тревожен и грустен.

В последний раз я видела его в редакции «Всемирной литературы» в середине октября, перед отъездом моим в Москву.

— Вы мало пишете, Александр Александрович, — сказала я ему между прочим.

— Я совсем не пишу, Любовь Яковлевна, — ответил он тихо. — Я служу. Я все это время должен был служить. Ведь нас трое, жизнь очень тяжела. А служба всегда, кака! бы она ни была, не дает мне возможности внутренне работать. Вот теперь получил литературный паек — может быть, станет немножко легче. Но службу все-таки бросить нельзя.

Стоит ли говорить о том, что значила для него эта необходимость служить. А что творилось в его сложной, хрупкой, правдивой душе в связи со всеми впечатлениями окружающей его жизни — после того, как он уверовал в ее обновление, — кто расскажет это?

И вот в середине июня, два месяца тому назад, Петербургский отдел Союза писателей уже направил бумагу, в которой настаивал на необходимости немедленно направить Блока в один из финляндских санаториев, в виду того, что у него разыгралась очень тяжелая форма неврастении вместе с цынгой и опасной болезнью сердца.

Вот выписка из письма одной молодой писательницы, касающаяся его последних дней и написанного уже после его смерти. «Мне встретился двоюродный брат Блока, который сказал мне, что последние две недели меланхолия, терзавшая его, приняла форму острого помешательства, но все же он

приходил в себя и успел дать жене все распоряжения. Непосредственно смерть пришла от воспаления сердечной оболочки. Он сильно страдал. Последние слова его были: «Умираю! Умираю!»... Заграничные паспорта получились только тогда, когда они могли лечь лишним камнем на его могилу. По словам его брата, спасти его было возможно, случись это раньше.

И еще из того же письма:

«Неправда этой смерти для меня еще и в том, что в гробу лежал совсем другой человек, но не Блок. В его чертах (я видела его на другой день после смерти) произошли непостижимые изменения, светлые волосы стали темными, из-под неплотно прикрытых век, казалось, глядели черные глаза; овал лица сузился книзу и даже лоб — такой широкий, ясный, шиллеровский, приобрел другие очертания. И не выражение лица изменило его черты — оно было просто и серьезно, без искаженности страданием. Значит, перемены произошли раньше, значит, трагедия духа, разыгравшаяся за эти последние месяцы, превратила его в кого-то другого, незнакомого нам?»

«Россия, пришедшая проводить свою святую, свою славу, была не больше по виду, чем в числе пятисот, тысячи человек, быть может и меньше»<sup>1</sup>.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

10 авг. 1921 г. Петербург

Любимая, милая Любовь Яковлевна.

Сегодня схоронили Блока —

Скорбная пустыня в душе, и ночь, и нет путей, и нет вех, ведущих к путям! — Глаза мои видели его мертвым в гробу, губы касались его мертвой руки, слух истерзало церковное пение, — но, правда ли все это, я не знаю? Не греза ли страшная, ложная, от которой проснешься рано или поздно, — здесь или уже там? Молчит мысль, дремлет сознание и нет ответа ни в себе, ни в других...

Мне страшно за вас, любимая милая, — за тот час, в который дошли до вас эти вести! И мне почудилось, что позже, — после первого ожога болью! — вы вспомнили обо мне и ждете моего письма о свершившемся; оттого и пишу вам сегодня!.. Вы и Блок часто сливались в моем сердце — в одно. Через вас я встретила с ним; в его чертах я нашла ваши черты и невидимые нити, связавшие меня с вами, протянулись к нему и связали меня с ним. Оттого, может быть, еще непонятнее для меня этот могильный холм — чем если бы я не имела той, вечно-памятной встречи, давшей мне *живые* слова из *живых* уст.

Неправда этой смерти для меня еще и в том, что в гробу лежал *другой человек*, но не Блок. В его чертах (я видела его на другой день после смерти) произошло непостижимое изменение: светлые волосы стали темными, из-под неплотно прикрытых век, казалось, глядели черные глаза; овал лица сузился книзу и даже лоб, такой широкий, ясный, «шиллеровский» раньше — принял другие очертания. И не выражение лица изменили черты, — оно было просто и серьезно, без искаженности страданием... Значит, перемена произошла *раньше*, значит — трагедия духа разыгравшаяся эти последние месяцы, в полном уединении, без свидетелей — превратила его в кого-то другого, незнакомого нами?

Мне встретился (случайно вышло это) двоюродный брат Блока, который сказал мне, что последние две недели перед смертью, меланхолия, терзавшая его, приняла форму острого помешательства, но все же он приходил в себя и успел дать жене все распоряжения. Непосредственно смерть пришла от воспаления сердечной оболочки.

Он сильно страдал. — Последние слова его были: «Умираю! Умираю!» Заграничные паспорта «хлопотами Горького» получились, конечно, только тогда, когда они могли лечь лишь лишним камнем на его могилу. По словам брата, спасти его было возможно, случись это раньше... Похороны были тягостные, не почему-либо иному, а потому что хоронили «по первому разряду»... Шли толстые «жрецы» в камилавках, пели певчие. В кладбищенской церкви ровно два часа тянули заубойную обедню, — и казалось, что все это «православие», эти лживые, поповские вопли — терзали, мучали, томили бедный, одинокий прах, а может быть, и дух, витающий над ним...

На могилу набросали бумажек с молитвами, которые казались сором среди цветов. И даже на лоб его привязали какую-то церковную реликвию. Одно дело молитва близких в церкви, — пусть, если верят, — она священна, — но не «первый разряд» и не запах «миллионов», который разил от попов, получивших их за свое ремесло. — А когда эти миллионы могли спасти *его* жизнь — их не было...

«Россия», пришедшая проводить свою святыню, свою славу — была не больше по виду, как в числе пятиста или тысячи человек; быть может, и меньше. — Всегда бросаются в глаза отсутствующие и потому поразило (во многих отношениях) отсутствие *Горького*. А говорили, что он в Петербурге...<sup>2</sup>

Не было Ремизова — я очень взволновалась за него, но Замятин сказал мне, что он уехал в день смерти, еще ничего не зная...

Речей не было. — Засыпали могилу при полном молчании. Говорить собираются завтра на гражданской панихиде. — Возможно, что и правительство выступит там в лице каких-либо своих представителей.

Кончаю письмо мое; сегодня ни о чем больше писать вам не могу, дорогая Любовь Яковлевна. Вообще же, как всегда, у меня много накопилось сказать вам. — Но, в другой раз.

Хотелось бы очень, очень, чтобы Вы ответили мне на это письмо хоть коротенькими, немногими строчками. Главное, — *о себе*.

Целую вас крепко, крепко. Гриша целует также.

Сердечный привет Елене Николаевне.

Ваша Вал. Фейдер

В. О. 8 линия, д. 49. А. кв. 39

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Цитируется (с отдельными неточностями) письмо к Л. Я. Гуревич Ф. Я. Фейдер от 10 августа 1921 г.

Валерия Андреевна *Фейдер* — литератор, библиограф. Автор биографических очерков о Некрасове и Белинском, составитель неоднократно переиздаваемой в 20-е годы «Хрестоматии по истории классовой борьбы» (первое издание — Пг., 1923). Составитель известного сборника: «А. П. Чехов. Литература, быт и творчество по мемуарным материалам». Л., Academia, 1928. В записной книжке Блока от 9 октября 1920 г. есть упоминание: «М-ше Федер от Л. Я. Гуревич — была часа полтора» (ЗК, 504).

<sup>2</sup> В этот день Горького не было в Петрограде.